



А. Ф. КОНИ

Из статьи «Вестник Европы»

<...> В конце восьмидесятых годов постоянным сотрудником «Вестника Европы» сделался Владимир Соловьев. Здесь, по-видимому, закончилось то «скитание мыслей», которое заставляло его, не отказываясь от чистых и благородных убеждений, изменять, однако, свои взгляды и вкусы, оставаясь, впрочем, верным личным симпатиям, невзирая на лагерь, в котором они были приобретены и от которого он сам отряс прах <с> ног своих. В одном только случае он отказался твердо и решительно от одного двуличного публициста, которого публично прозвал «Иудушкой Головлевым»¹. Как все богато одаренные люди, Соловьев не укладывался сразу и навсегда в определенные рамки: способность быстро становиться законченным целым есть, в сущности, удел заурядных натур. Многочисленными статьями в «Вестнике Европы», перечислять которые нет надобности, знаменовалась нравственно-политическая эволюция Владимира Сергеевича, и он сразу стал в этом журнале одним из самых влиятельных сотрудников, а в среде последних любимым товарищем и тем, что М. М. Стасюлевич в письме ко мне по поводу его смерти назвал «сотрудником жизни». И действительно, он был настоящим «сотрудником жизни», т. е. человеком, общение с которым украшало и облегчало существование, стирая с него краски житейской прозы и вознося мысль и чувства в область вековечных вопросов. Непреклонная и ничем не смущаемая вера в окончательное торжество добра и правды постоянно одушевляла Соловьева. У нас любят употреблять выражение «будить мысль», но разбудить ее, не указав ей путей и целей, идеалов и принципов, — значит обречь ее на бесплодное и часто мучительное искание. Это глубоко понимал Соловьев, говоривший, что все лучшее в непосредственной практической жизни имеет цену лишь тогда, когда в нем таится безусловное содержание, а над ним стоит безусловная цель. Поэтому во всех своих философских и религиозных сочинениях, и в особенности в своем вели-

колепном «Оправдании добра», он не только задушевым словом, горячей убежденностью и поэтически образами будил мысль читателя, но и настойчиво направлял ее. Он находил, что убеждения и воззрения высшего порядка должны разрешать в жизни существенные вопросы ума об истинном смысле всего существующего, о значении и разуме явлений — и вместе с тем удовлетворять и высшим требованиям воли, ставя для нее безусловную цель и определяя высшую норму ее деятельности. Таков он был и в серьезных беседах, невольно и вместе с тем неотразимо заставляя собеседников иметь «sursum corda!»² и хоть на время освобождаться от тины и грязи житейского болота и забывать о них. Я говорю о серьезных беседах, так как наряду с ними Соловьев был очень склонен к шуткам. Я не подмечал в нем злой иронии — он оставлял ее, следуя совету Некрасова, «отжившим и нежившим»³, — но речь его блистала и пестрела тонким юмором, оригинальными сравнениями, неожиданной игрой слов. В ту область, куда легко и удобно может вторгнуться педантическая отвлеченность и самодовольная неудобопониимость — одним словом, в область, про которую Вольтер сказал: «Quand celui qui écoute ne comprend pas et celui qui parle ne se comprend plus — c'est de la métaphysique»⁴, Соловьев вносил не только ясность и простоту, результат глубокого убеждения, но и освежающие свойства шутки и бодрящего смеха. Он сам любил смех и предавался ему, как ребенок, захлебываясь и радостно взвизгивая.

Вообще, шутливые стихи ему давались очень легко. Однажды, в половине девяностых годов, он стал говорить об увлечениях некоторых из тогдашних поэтов-символистов, выработавших себе впоследствии гораздо более серьезное отношение к своему несомненному таланту. Но тогда его сердила и вместе смешила составлявшая будто бы сущность символизма погоня за вычурностью языка и за сочинением новых темных словечек и немислимых словосочетаний. «Право, — сказал он, — не так трудно сочинять — именно *сочинять* — такие стихи. Идя сюда (обедать к Стасюлевичу), я, чтобы развлечься от усиленного труда, представил себя символистом и придумал следующие стихи». И он продекламировал с некоторыми незначительными изменениями и заливаясь смехом следующее:

I

Горизонты вертикальные
 В шоколадных небесах,
 Как мечты полужеркальные
 В лавровишневых лесах.

Призрак льдины огнедышащей
 В ярком сумраке погас,
 И стоит меня не слышащий
 Гиацинтовый Пегас.
 Мандрагоры имманентные
 Зашуршали в камышах,
 А шершаво-декадентные
 Вирши — в вянущих ушах.

II

На небесах горят паникадила,
 А снизу — тьма,
 Ходила ты к нему иль не ходила?
 Скажи сама!
 Но не дразни гиену подозренья,
 Мышей тоски!
 Не то смотри, как леопарды мщенья
 Острыят клыки!
 И не зови сову благоразумья
 Ты в эту ночь!
 Ослы терпенья и слоны раздумья
 Бежали прочь.
 Своей судьбы родила крокодила
 Ты здесь сама.
 Пусть в небесах горят паникадила,
 В могиле — тьма⁵.

Впечатлительный и болезненно-восприимчивый, он иногда вносил чувство личного раздражения в свои разногласия с людьми, основные воззрения которых на существенные вопросы и задачи жизни он разделял. Такова была его полемика с Б. Н. Чичериным⁶ по поводу «Оправдания добра», в которой он в одном из своих ответов Чичерину допустил крайне резкие возражения против почтенного мыслителя и общественного деятеля. Но, остыв, он умел раскаиваться и сознавать свою вину. Поэтому в заключительной своей статье в полемике с Чичериным он просил у него извинения в своих резкостях. И мне пришлось испытать эту сторону его характера. В статье «Нравственный облик Пушкина», помещенной в «Вестнике Европы» в октябре 1899 года, я коснулся тех, которые осуждают Пушкина за выход на поединок «и желали бы видеть его не мячиком предрассуждения, по-видимому не представляя себе ясно последующей картины жизни человека, малодушно затыкающего себе уши среди возрастающего наглого презрения общества, вырваться из которого зависит не от него». К числу осуждавших прежде всего принадлежал и Соловьев в своей статье «Судьба Пушкина», напечатанной в «Вестнике Европы» в 1897 году... Он явным обра-

зом обиделся на меня за это место моей статьи и заявил Стасюлевичу, что этого он не оставит и пришлет для печати ответ мне. Затем, однако, он одумался и в письме к Стасюлевичу, указывая на наши добрые отношения, хотя и огрызаясь по моему адресу, он заявил, что отказывается от перенесения личных чувств и страстей в литературу. А месяц спустя поднес мне свои «Три разговора» и «Оправдание добра» с надписью: «Дорогому и сердечно уважаемому — искуснейшему вызывателю добрых теней».

И личная жизнь и наружность Соловьева были в высшей степени своеобразны. Над худым и, казалось, хрупким телом его, одетым бедно, скудно и часто не по сезону, выступала производившая неотразимое впечатление голова, с густыми прядями седующих волос над высоким благородным лбом и удивительно красивыми, темно-голубыми глазами, в которых отражалась и глубина его души, и постоянная работа пытливого мысли. Нижняя часть лица его не имела одухотворенного вида, свойственного верхней, но она была скрыта под густыми усами и бородой. Он вел жизнь, лишенную всяких, даже самых скромных, удобств и какой-либо материальной обеспеченности. Физически слабый, не имея «ни кола ни двора», он вынужден бывал греться, в прямом и переносном смысле, у чужого очага, часто нуждаясь в самом необходимом вследствие своей безграничной доброты, доверчивости и отношению к окружающей жизни с той голубиной кротостью, при которой его не могла бы оградить даже и змеиная мудрость. В последние годы он усиленно работал, не имея необходимого спокойствия и отдыха, при полном отсутствии разумной заботы о своем здоровье, растрачивая свои слабые силы, не думая о завтрашнем дне и не щадя себя. Яркий и согревающий свет своего ума он искупал беспощадным принесением себя в жертву. Но все-таки никто не ожидал, что он погаснет так скоро, так преждевременно, как раз перед наступлением той го-дины, когда его влиятельный и вещей голос мог бы зазвучать с особой силой и пользой, «как колокол на башне вечевой — во дни торжеств и бед народных»⁷. До самой своей смерти, в дружеских беседах за «круглым столом» он умел с особой живостью отзываться на все возникавшие общественные вопросы, иногда в необычной форме. В конце девяностых годов при Министерстве юстиции была высочайше учреждена комиссия для пересмотра законоположений по судебной части под председательством статс-секретаря Муравьева. В ней, между прочим без всякой необходимости, был возбужден принципиальный вопрос о самом существовании суда присяжных, и на гостеприимно открытых страницах журнала Министерства юстиции появились статьи против этой формы суда и о желательности замены присяжных

коронными судьями. Вместе с тем и в разных других органах печати начался поход против присяжных, причем объявились добровольцы, заменившие старую кличку, данную присяжным еще Катковым — «суд улицы», — более выразительной и резкой — «стадо баранов». Все это не могло не служить предметом грустного обмена мыслей за «круглым столом». Однажды во время разговора об этом напрасном и легкомысленном колебании вошедшего в народное сознание судебного института Соловьев что-то писал на клочке бумаги и затем со смехом передал этот клочок мне. На нем стояло:

Вы — «стадо баранов» — печально!
 Но вот что гораздо больней:
 На «стадо баранов» нахально
 Набросилось стадо свиней⁸.

Как живой стоит он передо мною в день открытия в Мраморном дворце так называемой Пушкинской Академии, т. е. Разряда изящной словесности, образованного при Академии наук в память великого поэта. Будучи избран одним из девяти первых почетных академиков⁹, он произвел весьма своеобразное впечатление в своем старом, по-видимому взятом на подержание, фраке и манишке, напоминавшей моды начала пятидесятых годов, но тотчас же приковал к себе общее внимание, заявив, что намерен внести в Разряд предложение о деятельных шагах Академии в ограждении свободы и прав русской мысли в области веры и науки. И в следующем заседании он сделал обстоятельный по этому предмету доклад, на основании которого уже после его кончины вследствие подробного письменного предложения К. К. Арсеньева была образована под моим председательством комиссия, в состав которой вошли Арсеньев, Шахматов и Кондаков и труды которой — к сожалению, бесплодные непосредственно — влились, как маленькая речка, в целое море материалов, ставших в 1905 году предметом обсуждения известной комиссии Кубеко для выработки Устава о печати.

Таинственное и мистическое часто находило себе место в трудах Соловьева и еще больше в его рассказах. Достаточно вспомнить перевод им книги Подмора о телепатии¹⁰ и его предисловие к ней. Иногда, среди оживленного разговора о злобе дня, он вдруг замолкал, вперял перед собой во что-то невидимое неподвижный взор и становился глух ко всему окружающему. Его бледное лицо бледнело еще более, затем взор затуманивался, и он как бы выходил из-под власти какого-то видения, доступного ему одному и приковавшего к себе его напряженное внимание. Вероятно, в одну из таких минут он написал, за десять лет

до русско-японской войны, свое горестно-зловещее стихотворение «Панмонголизм», предсказывая в пророческом предвидении своей родине то время, когда будут «желтым детям на забаву даны клочки ее знамен».

Однажды, зимой 1899 года, я нашел его за обедом у Стасюлевича в особенно оживленном и веселом настроении. После обеда он предложил подвезти меня ко мне, на Невский, так как ехал сам на Пески. Перед отъездом я рассказал ему в «конспиративной комнате» (так называлась в квартире Стасюлевича комната, куда удалялись поговорить наедине) слышанный мною накануне довольно правдоподобный анекдот о комическом недоразумении между светской дамой, приехавшей на богомолье в бедный, но с весьма строгим «житием» братии монастырь, и отцом-экономом из крестьян, которого она спрашивает о составе монастырской трапезы и о том, какой же у них «десерт», и который понимает это слово совершенно своеобразно и для слуха светской дамы весьма неожиданно. Соловьев заливался смехом до слез, до боли, продолжая показываться со смеху и сев на извозчика, так что тот несколько раз оглядывался на него. Когда мы подъехали к моей квартире, он сказал мне, что охотно зашел бы ко мне и выпил бы стакан красного вина. Оставив его на минуту, чтобы распорядиться о вине, я едва узнал, вернувшись в свой кабинет, в побледневшем человеке с тревожным и блуждающим взглядом недавнего радостного и шутливого Соловьева. «Что с вами, Владимир Сергеевич? Вы больны?» Он отрицательно покачал головой и закрыл глаза руками. Принесли вино, но он резким движением отодвинул налитый стакан и, помолчав, вдруг спросил меня, верю ли я в реальное существование дьявола, и на мой отрицательный ответ сказал: «А для меня это существование несомненно: я его видел, как вижу вас...» — «Когда и где?» — «Да здесь, сейчас, и прежде несколько раз... Он говорил со мной...» — «У вас, Владимир Сергеевич, расстроены нервы: это просто галлюцинации». — «Поверьте, что я умею отличать обман чувств от действительности. Сейчас это было мимолетно, но несколько времени назад я видел его совсем близко и говорил с ним. Возвращаясь из Ганге на пароходе и встав рано утром, я сидел в своей каюте на постели, медлительно, задумываясь по временам, одевался и вдруг, почувствовав, что кто-то находится возле меня, оглянулся. На смятых подушках, поджав ноги, сидело серое лохматое существо и смотрело на меня желтыми ключими глазами. Я тотчас понял, кто это, и тоже стал смотреть на него в упор. “А ты знаешь, — сказал я ему, — что Христос воскрес?!” — “Христос-то воскрес, — отвечал он, — но тебя-то я оседлаю!” — и, вскочив мне на спину, сжал мою шею и прида-

вил меня к полу. Задыхаясь в его объятиях и под ним, я стал творить заклинание Петра Могилы¹¹, и он стал слабеть, становится легче, наконец руки его разжались и он свалился с меня... В ужасном состоянии я выбежал на палубу и упал в обморок... А теперь прощайте: поеду на Пески». Но обычное суеверие было ему чуждо. Мне вспоминается обед 13 мая 1900 г. Я несколько опоздал и застал всех собравшихся на этот раз в необычном числе, а также хозяев — в некотором смущении. Оказалось, что престарелый поэт Алексей Михайлович Жемчужников, довольно редкий гость в Петербурге и стародавний сотрудник «Вестника Европы», приехавший обедать, ни за что не хотел остаться, так как за стол должно было сесть тринадцать. Наконец его удалось уговорить и победить тем, что был поставлен четырнадцатый прибор и на него шутя положена последняя книжка «Вестника Европы» в качестве четырнадцатого гостя. «Вам хорошо, господа, — сказал, усаживаясь наконец, Жемчужников, — вы все моложе меня, а мне ведь скоро восемьдесят лет и я все-таки люблю жизнь — и в особенности природу — и не хочу умирать. Тут поневоле станешь суеверен». «Да ведь, — перебил его, весело смеясь, Соловьев, — обыкновенно умирает самый младший, а младший-то здесь я, так что вы не беспокойтесь: если тринадцать такое роковое число, то я отбуду повинность за вас». И действительно, через два с половиной месяца он, неожиданно для всех, отбыл эту повинность в подмосковном имении князя Трубецкого...¹² Весной предшествующего года одна талантливая петербургская художница писала в своей мастерской его портрет. Все время сеансов он был чрезвычайно весел, шутил, заливался своим детским смехом и говорил, что, веруя в учение о сорокадневном пребывании души умершего на земле, думает, что на это время она облекается формой не человека, а какого-нибудь другого живого существа, например птицы. «Я буду, конечно, филином, — говорил он, — и стану своим видом и криком пугать людей, а вам обещаю, если моя душа вселится в птицу, прилететь об этом сказать». Он отказался немедленно взять подаренный ему художницей окончанный портрет, прося оставить его куда в мастерской. В день, следовавший за его кончиной, художница приехала на несколько времени с дачи в Петербург и, ночуя в комнате, соседней с мастерской, услышала в последней ночью какой-то странный шум, а когда поутру вошла туда, то увидела, что порывом ветра раскрыто итальянское окно и перед портретом Соловьева лежит, распростерши крылья, какая-то довольно крупная птица, влетевшая ночью и убившаяся, ударившись с разлета о раму портрета Соловьева. <...>

